

Куда денешь вечные привычки? Заглянул в свой дневник и улыбнулся — когда время здоровое, то будто и не до него: сплошные зияния, по полгода ни строчки. Тем более про книжки — до них ли? А теперь вон как заперли дома, так что делать-то грамотному человеку. Ну и нет-нет что-то подумается на полях прочитанного. Ну а поскольку писатель пишет не для одного себя, то и читатель следом торопится кому-то сказать, что прочитал, де, и вот подумал. Даты выставлять не буду. Скажу только, что от конца марта до конца мая

текст **Валентин Курбатов**

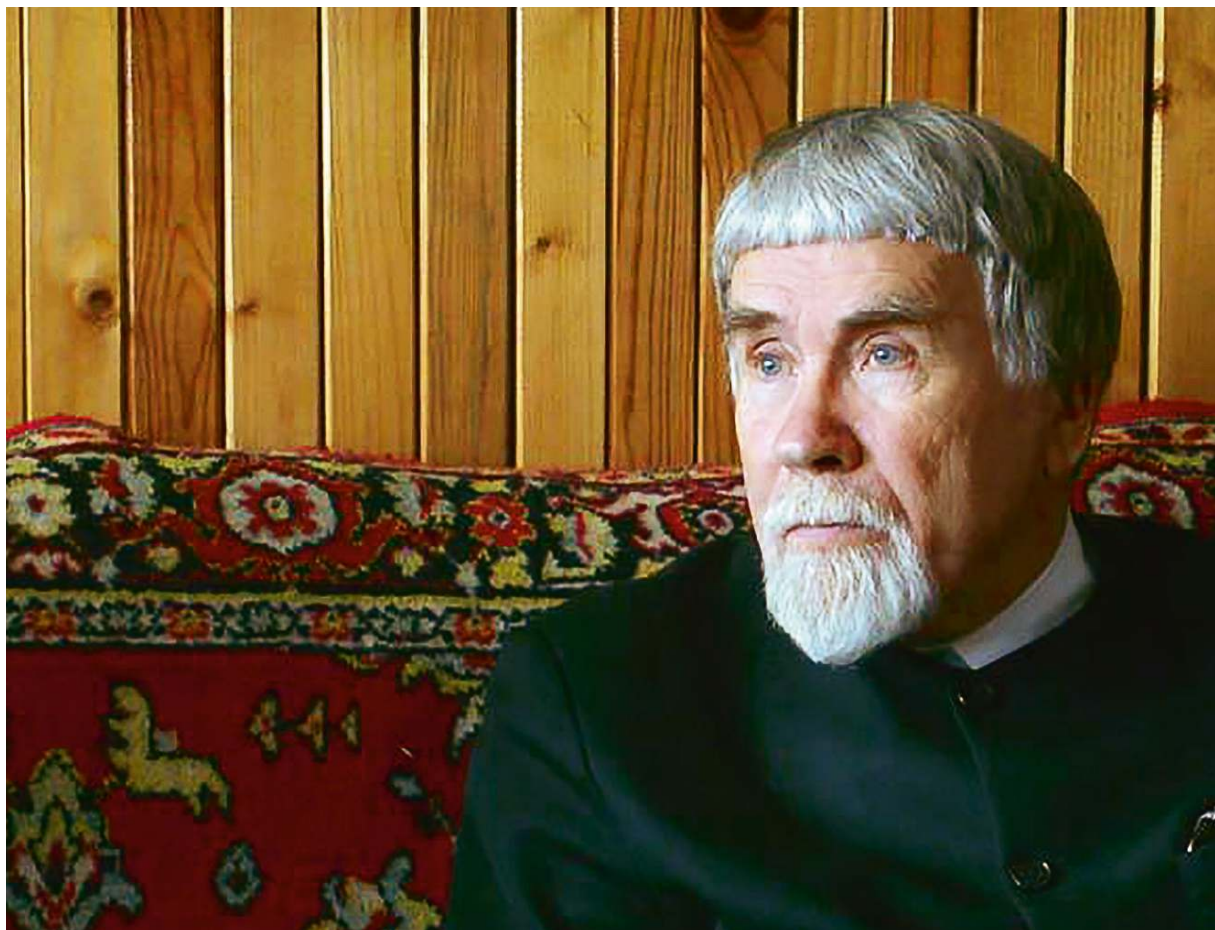
Вдруг с изумлением отметил, что мне нравится все большее число книг из соискателей премии «Ясная Поляна», которые я читаю по долгу члена жюри. Раньше-то вроде больше брюзжал, а теперь вон нацелил в короткий список целых пять книг (имен не скажу, потому что пока нельзя). И на очередной, даже не намеченной в «список», догадался, что эта снисходительность явилась оттого, что книги эти стали заменять мне жизнь, что сам-то давно остановился и давно не гляжу в окно вагона или самолета, и давно уже не был не то что в прежде почти ежегодных Перми, Красноярске или Иркутске, но даже вон и в Москве и Питере. Ни живых встреч, ни разговоров. Вот и набрасываешься на книжных героев — поговорить с ними, послушать, оспорить, согласиться. Они теперь для тебя шум улицы и жизнь.

Написал это в конце марта и, как всегда после обильного чтения, какое-то время перемолчал, выравнивая слух. А тут вот на тебе — коронавирус. И уже через месяц все по-другому...

Давно ли вон с «импортными» героями охотно беседовал. А потом, чтобы «домой вернуться», Гоголя с наслаждением

перечитывал. Впрочем, его нельзя «перечитать» — всегда будет впервые, хоть прямо на следующий день с того же места разогни. А уж вот даже и Гоголь не в радость, и Толстой не в утешение. Все загородил проклятый коронавирус. Показалось, что в удовольствии от чтения в такую минуту есть что-то противозаконное. Полюбуюсь вон у Гоголя, как губернские чиновники создают благотворительные общества: соберут деньги «на бедных» и тут же на них закажут прием для начальства, а потом похлопочут выделить из них на здание своего Фонда хорошей архитектуры, и когда останется от суммы рублей пять, то и тут всякий благотворитель норовит в «бедные» свояченицу или тещу протащить. Раньше бы побежал цитировать друзьям, посмеиваясь, делить удовольствие с другими, а теперь будто и не до того — кто-то ведь теперь и на коронавирус собирает. Подумают, что это про них. Нехорошо.

Откроешь у Толстого, как Стива Облонский в «Анне Карениной» читает за завтраком либеральную газету и тоже хоть беги цитируй: «Либеральная партия говорила, что в России все скверно и, действительно, у Степана Аркадьевича долгов было много... Либеральная партия говорила, что религия есть только узда для варварской части населения, и, действительно, Степан Аркадьевич не мог понять, к чему все эти страшные



слова о том свете, когда и на этом было бы очень весело жить...» А тоже вот неловко. До либералов ли теперь...

И о пейзаже я давно печалился, что его все меньше в литературе, а теперь и вообще не заикайся — пейзаж ему. Прочитаешь у Бунина в «Митиной любви»: «Тихо, тихо стоял ночной млечный сад. Осторожно, изнемогая от него, пели ночные соловьи, состязаясь друг с другом в сладости и тонкости. И тихая нежная совсем бледная луна низко стояла над садом и неизменно сопровождала ей мелкая несказанно прелестная зыбь голубых облаков». Поневоле подумаешь, решится ли кто-нибудь сейчас написать такой сад. И жить с природой, как Митя, чтобы каждый цветок распускался для него и всякий гром гремел для его сердца. И, вообще, возможно ли теперь и в будущем, после моровой язвы, даже когда она пройдет, такое же согласие травы и сердца, неба и души.

А из нынешних писателей кто устоит в прежней заинтересованности. Скажешь «Пелевин» и не договоришь: какая уж метафизика, когда и с физикой беды никак не разберешься. Вспомнишь Прилепина, но и война уже не в войну, не до нее. Бедную Гюзель Яхину всю изорвали со всех сторон, потому что «попала под руку» в неурочный час. А уж что говорить про Сорокина и иные постмодернистские забавы.

Но оставь умную свою мысль, выключи телевизор, забудься и читай дальше, не оглядываясь на улицу, и вдруг на какой-то странице заметишь, что книжка-то и перевесит день, и спасет смятенное сердце. И улетишь за Митей, за Левиным и Кити, за Анной и Вронским, и что тебе эти вирусы и тысячи зараженных? Ты там — в единственно подлинном мире слова и любви, неба и звезд, росы и рассветов, домашних ссор и нечаянных влюбленностей. Там, там — в Жизни, которой не будет конца, как бы ею ни играли господа политики. Все они со всеми хитростями бессильны перед словом, которое неподвластно человеку, потому что было у Бога и само — Бог.

Чем хорошо заточение? Отворяется слух. Зрение не развлечено, и ты лучше слышишь привычное. И литература ловно ждала часа: ну-ка вот теперь взгляди промытым-то зрением. О! Так вот оно что!

Завелся «Евгением Онегиным», которого читает в ютьюбе Валентин Непомнящий. Слышал ведь и прежде. И не в Интернете слышал. Валентин Семёныч читал «Онегина» у нас в Пскове на малой сцене Псковского театра во время Пушкинских театральных фестивалей. Но то ли оттого, что все разговоры в эти дни были вокруг Пушкина и слух

был весь в нем и оттого слегка «механизировался», притуплился к настоящей глубине, то ли час тогда не пришел. Но вот сейчас я слушал главу за главой потрясенным сердцем и со смятением думал: да было ли в нашей литературе что-нибудь равное и такое всеобщее для каждого сердца и вне всякого определенного времени, упраздняющее это время, чтобы у нас открылись глаза для предвечного. Ведь это было и это будет всегда. И будет всегда именно так, хоть изреформируйся и испеременейся. Отчего у Непомнящего после слов о любви Татьяны так естественно, сами собой являются слова апостола Павла из Первого послания к коринфянам: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится...»

А уж вон у Толстого свое время. Прочитай главы о Левине и его хозяйственных заботах и из словаря не вылезешь: когда начать возку навоза, как продержать поле под черным паром, убирать ли покосы исполу или работниками, как перерезать шесть полей навозных и три запасных с травосеянием и обсадить поля лозинами по полуденным линиям. Как понять-то даже нынешнему фермеру. Даже и пейзаж нынешнему слуху уже чужд, когда на перевале лета «рожь выколосилась и, серо-зеленая, не налитым, еще легким колосом волнуется по ветру, когда ранняя гречиха уже лопушится, скрывая землю, когда убитые в камень скотиной пары не берут соха, когда на низах, ожидая косы, стоят сплошным морем бережные луга...» Бунинский Митя бы поморщился этому отсутствию поэзии. А ведь тогда каждый читатель, еще не вовсе расставшийся с землей, слышал тут каждое слово и радовался с Левиным живому труду, такому отличному от иллюзорной жизни старого Каренина или Стивы.

Кажется, еще немного и мы разучимся читать свои книги. Не зря я помню, как жадно цитировал «Анну Каренину» в Ясной Поляне один из екатеринбургских постмодернистов, порвавших с современной ему реалистической прозой для свободы и независимости. А вот прочитал Толстого и теперь не мог остановиться — его отвычному, балованному своей «свободой» слуху, тут в «новизне словаря» все казалось постмодернизмом. Он хотел научить нас новости взгляда, а проговаривался только тоскою по чуду вечного слова, которое ему мерещилось новым, потому что в нем самом давно оборвался живой корень.

Может, и для этого нам послано испытание, чтобы мы вспомнили себя и не стыдились своего живого великорусского слова, а словно впервые видели его земную глубину. И я сам ловлю себя на желании переписывать целые страницы и восклицать: «А-а! Видали!» И улыбаюсь, видя, как тонко Господь ведет нас, ни минуты не принуждая, а щадя

наше самолюбие, одевает наши «прозревания» в новые простые одежды, чтобы мы думали, что мы это сами.

И все не отпускает меня Толстой. С утра уже не терпится скорее за чтение. И куда ни повернет, все у него выходит про любовь, будто и он Павлова послания к коринфянам из ума не выпускает. Как светает мир, когда у Левина все налаживается с Кити. Сразу ни одного дурного человека вокруг — все счастливы и прекрасны! И даже у старика Каренина, когда он на минуту примирился с Анной после ее родов и возможной смерти, — тоже все осветилось и сам он узнал чувство, которого не знал за собой, — любви к другим.

И все это писано как письмо к Соне, чтобы вернуть любовь, которая уходит. И все думаешь, как могла она мучить его и себя — после того, как прочитала это. И как могло случиться, что он, который жил любовью и которому она нужна была «по его росту» (чтобы вся и во всем, чтобы потом было оправдано каждое слово), умирал в Астапово один — не соборованный, хотя священник был рядом (и он сам не отказывал в соборовании даже «неверующему» Николаю Левину), не видя жены, которая тоже была рядом и, встав на кирпичи под окном, все пыталась увидеть его там, в доме, куда ее не пускали.

Это мир уже навсегда прощался с собой уходящим и с его прозой, которая тоже была похожа на завещание — как любить, как уклоняться от цивилизации для своего пути, для земли, как оставаться целым. А мы уж, если и переживем еще похожие чувства, то уже назвать их не сможем и умалим, и растратим, потому что живем уже не полнотою жизни, а «с пятого на десятое», пунктиром, одним днем. Наружу стали жить для «цифры» и для «селфи» — все будто немного перед объективом. А он вот и крестьянскую землю оглядывал с Левиным, и проблемы инородцев с Карениным так страстно, словно перед Думой выступал, и хотел, чтобы и Государь услышал, и депутаты, но писал не им, а читателю, как народу, чтобы каждый с ним пережил и был одно. Отчего народ тогда так и чувствовал его, и заводил «толстовство», но уже заводил его «по уму», а не от требования целостной жизни. И даже Мережковский с Зинаидой Гиппиус (уж кто дальше от земли?) ездили к нему в Ясную, как до них Чехов, Горький, Бунин, да и просто умный читатель, чтобы вспомнить в себе уходящее единство, а не только похвалиться, что были у «великого старика». Не для совместной фотографии только, а от стыда перед собой — к своему лучшему, для восстановления сердца.

Но внешнее уже безнадежно побеждало внутреннее. И нынешний писатель уже не ищет в читателе народа, а предпочитает

именно умного читателя и подольщается к нему тонкостью и иронией, непрременной сорокинской оппозицией. Как у Толстого хорошо говорил Голенищев Вронскому — как раньше рождались вольнодумцы, как вырастали они из классического чтения, из языков, философии, мысли, религии и нравственности, так что вольнодумство давалось им трудом, а теперь вольнодумцы стали «самородны»: заглянул в журнал, «попал на отрицательную литературу» (как нынче поглядел канал «Дождь», послушал «Эхо Москвы») и готов, и уже снисходительно говорит: «Я в своей статье...»

И какое чудо иронии в Толстом — по портретам ни за что не увидишь: эта лестница в бальной зале, «убранная цветами и лакеями в париках», и эта грустная улыбка: «Разговор был приятный — осуждали Карениных», и эти новые течения в девушках, которые стали уверены, что сами должны выбирать себе мужей и при этом многие «даже не приседали». И я, оказывается, забыл, что он не только знал все тонкости мужских и женских характеров, почти пугая этим знанием (сохрани Бог попасться на глаза), но вот и собакой мог стать, левинской Лаской, которая вон даже может досадовать на хозяина, что он отвлекает ее («Но я не могу идти, — думала Ласка. — Куда я пойду? Отсюда я чувствую их, а если я двинусь вперед, я ничего не пойму»), и «для виду» выполнив то, о чем просил хозяин, скорее возвращается к тому, что знает для него же — хозяина. Поневоле вспомнишь, что он ведь и лошадью был в Холстомере, да и тут перед скачками автор больше на стороне лошади, чем Вронского. И не зная, как реагировать, только рукой махнешь, когда читаешь, как Левин встает из-за стола в клубе, «чувствуя, что у него при ходьбе особенно правильно и легко мотаются руки». Или вот: «Степан Аркадьевич был не только человек честный (без ударения), но он был честный человек (с ударением), с тем особенным значением, которое имеет в Москве это слово, когда говорят: честный писатель, честный журнал, честное учреждение, и которое означает не только то, что человек или учреждение не бесчестны, но и способны при случае подпустить шпильку правительству». И Степан Аркадьевич ищет выгодного места, а оно «зависело от двух министров, одной дамы и от двух евреев» (кхм, кхм — как незыблем мир!)

И тут сразу и поневоле думаешь: зачем Анна с ее эгоизмом и утомительным даже для Вронского требованием любви и «понимания своего положения», когда главное-то в романе вовсе не они, а Кити с Левиным и вопросы веры, мучившие Толстого. Это Степан Аркадьевич в Москве опускался до того, что поживи он там подольше, дошел бы чего доброго «до спасения души». И это Анна, увидев в поезде крестившегося перед дорогой человека, со злобой думает:

«Интересно бы спросить у него, что он подразумевает под этим...» А Левин, хоть и считал себя в «неверующих», но все время «был в мучительном разладе с самим собой и напрягал все душевные силы, чтобы выйти из него».

А вышел не благодаря перечитанным Платону, Спинозе, Канту, Шеллингу, Гёте и Шопенгауэру, подталкивающим разве к тому, чтобы ему застрелиться или повеситься, раз проблема смерти, мучающая его, не разрешается ими, а благодаря простому мужику из дальней деревни, сказавшему, что «Митюха для брюха живет, а Фоканыч — правдивый старик, для души живет, Бога помнит». И словно небо открылось Левиному в этой простоте. И все главы романа последней части с восьмой до самого слова «конец» стали символом веры Левина и Льва Николаевича, отчего близкие-то люди читали фамилию героя не Левин, а Лёвин. И все обретенное Левиным в этих главах знание так просто, ясно, умно и праведно, что потом уже и все разговоры о «гордыне» Льва Николаевича и суде его над церковью неправедны и нарочито глухи. Надо было Победоносцеву и Синоду только прочитать эти последние главы восьмой части, чтобы сделать их частью катехизиса для вразумления умных нынешних агностиков, потому что не было еще в русской литературе слов такой простоты и света.

А-а, вот оно что. Угодно вам светской эгоистической любви, от которой всем одни страдания: и самим любящим, и всем вокруг — получите. И это ей, ей, Анне, он посвящает жесткий эпиграф: «Мне отмщение, и аз воздам». Таня-то Ларина ведь тоже на краю была, когда говорила Онегину: «Я вас люблю, к чему лукавить...», и уступи она в этот час своему сердцу, и была бы первая Анна, и общие пересуды, и неизбежное страдание. Но она вот, как старик Фоканыч, «для души живет. Бога помнит» и оттого чистое сердце два столетия светит нам и спасает нас, как спасают Левин и Кити, видящие не зеркало, а мир вокруг.

Опять с улыбкой вижу, что когда о чем-то начинаешь думать неотступно, книжки тоже собираются вокруг, чтобы разделить твою настойчивую мысль. Позабыл совсем пастернаковского «Живаго». Дай, думаю, пока свободен, разогну, а там прямо посередине развернутой страницы Живаго бормочет о революции, растапливая буржуйку: «Есть в этом что-то национально близкое. Что-то от безоговорочной светлости Пушкина, от невилующей верности фактам Толстого». Вот так тоже рядом, как мне в тоске карантин, — Пушкин и Толстой!

Карантин — это наше отмщение за потребительский эгоизм и жизнь для одних себя, а теперь откроем глаза и увидим, что, как писали сводки самоизоляции, «на улице есть люди», и увидим этих людей с благодарностью и любовью, как преодоленных себя. ❏